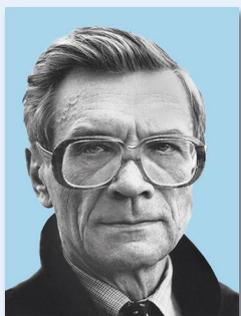


Индекс УДК 821.161.1
Код ГРНТИ 17.09**В.В. КОЖИНОВ*****«Посмертная книга»**

В статье анализируется противоречие между прозрачностью и «общедоступностью» творчества Пушкина, с одной стороны, и его непостижимой глубиной, доступной небольшому числу «всех своих истинных ценителей» (Н.В. Гоголь), – с другой. Анализируя несколько «необнародованных» поздних стихотворений Пушкина, составляющих, по словам автора, «посмертную книгу», автор делает вывод об их глубокой поэтической историософии, о том, что в них как бы «бытие говорит само о себе», об их поразительной разносторонности, об отразившейся в них целостности бытия. Делается вывод об обращённости «посмертной книги» Пушкина в будущее, о том, что пушкинская поэзия всегда впереди нас и поэтому – наше бесценное достояние.

Ключевые слова: прозрачность и непостижимая глубина пушкинского наследия, «необнародованные» стихотворения Пушкина, «посмертное» наследие, говорящее о себе бытие, разносторонность, поэтическая историософия, цельность бытия

В отечественном самосознании живут – то противоречая друг другу, то сливаясь воедино – два представления о пушкинском творчестве. Его поэзия воспринимается и как предельно близкое всем и каждому, заведомо «общедоступное» наследие, и как явление, исполненное великой тайны, требующее глубочайшего – и никогда не достигающего последней глубины – духовного проникновения.

Когда-то Виссарион Белинский провозгласил: «Ни один из русских поэтов не может быть столько, как Пушкин, воспитателем юношества, образователем

юного чувства» [1, Т. 6, с. 282]. А ведь для того чтобы «образовывать» юное чувство, поэзия должна быть внятна ещё не развившемуся и отнюдь не изощрённому восприятию отрока. И пушкинская поэзия действительно в той или иной мере и степени открыта для неопытных душ.

Но в то же время о поэзии Пушкина размышляли как о предельно трудно постигаемом феномене Иван Киреевский и Николай Гоголь, Фёдор Достоевский и Аполлон Григорьев, Владимир Соловьёв и Василий Розанов, Вячеслав Иванов и Семён Франк, Александр Блок и Сергей Булгаков, Владислав Ходасевич и Георгий

* **Кожин Вадим Валерианович** — кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН.

Федотов, Анна Ахматова и Сергей Бонди. Все они открывали в творчестве поэта нечто ранее неведомое, и все они, так или иначе, признавали неисчерпаемость Поэта. Да, каждая эпоха открывала в поэзии Пушкина не освоенное ранее богатство, и это всецело относится к нашему времени; чтобы убедиться в этом, достаточно вчитаться в книги и статьи таких современных мыслящих пушкиноведов, как Сергей Бочаров, Валентин Непомнящий, Пётр Палиевский, Николай Скатов.

Противоречие открытости, «простоты», прозрачности пушкинского наследия, с одной стороны, и его же непостижимой глубины и богатства — с другой, давно стало своего рода камнем преткновения для зарубежных исследователей и толкователей русской литературы. Это хорошо показано в содержательном обзоре современного западного пушкиноведения, написанном Ренатой Гальцевой и Ириной Роднянской [2]. Они, в частности, приводят слова норвежца (а в Норвегии русская литература пользуется вниманием) Э. Эгеберга: «Перед желающими изучать Пушкина встанёт у нас своеобразное затруднение. До сознания публики предстоит довести, что именно он, а не Достоевский или Толстой, считается у русских величайшим национальным писателем» [2, с. 81]. Английский критик Д. Дэви высказался по этому поводу более резко: «Уж не дурачат ли нас, пользуясь нашим легковерием? Подозрение недостойное, но неизбежное» [2, с. 82]. Другой англичанин, А. Бриггс, откликнулся на эти слова так: «Даже рискуя прослыть адвокатом дьявола, невозможно полностью игнорировать возглас Дэви» [2, с. 82].

Это вовсе не новое недоумение; авторы обзора напоминают давнее суждение Флобера о Пушкине в разговоре с Тургеневым: «Он плоский, этот ваш поэт». Но тут же Гальцева и Роднянская показывают, что в наше время наметился явный сдвиг в западном восприятии Пушкина: «...там, где Флобер, а вслед за ним и другие видели “плоскость”, теперь перед наиболее проницательными автора-

ми открывается глубина» [2, с. 95]. Как писал (в 1983 г.) уже упомянутый А. Бриггс, в поэзии Пушкина «идеи внушаются столь непринужденно... что поначалу они и не кажутся мыслями, тем более серьезными» [2, с. 92]; т.е. мысли вроде бы есть, но их не воспринимают.

Прямо-таки замечательно, что сам-то Пушкин в мае 1826 г. написал Петру Вяземскому: «Твои стихи... слишком умны. — А поэзия, прости Господи, должна быть глуповата» [3, т. X, с. 207]. Одни выражали по поводу этого пушкинского «требования» недоумение, другие как бы испуганно обходили его стороной. А ведь выглядящее озорным парадоксом «требование» в сущности совпадает с тем определением высшего уровня искусства (и, конечно, поэзии), которое ранее, в 1790 г., сформулировал в своей «Критике способности суждения» Иммануил Кант, утверждая, в частности, что «целесообразность» в произведении искусства «должна казаться столь свободной... как если бы оно было продуктом одной только природы... не основываясь... на понятиях» [4]. Иначе говоря, поэзия не должна представлять как продукт человеческого ума, т.е., если угодно, должна быть «глуповатой» (ведь в «продукте природы» человеческого ума нет...).

Могут возразить, что Пушкин был слишком далёк от Канта и вообще философской эстетики, и потому стремление найти здесь «переключку» неправомерно. Но это ведь не так или, по крайней мере, не совсем так. Во-первых, Пушкин ещё в лицее достаточно широко познакомился с наследием Шиллера, который во многом был связан с кантовской эстетикой; а во-вторых, едва ли стоит недооценивать суждение Пушкина, относящееся к 1830 г. (уже после нескольких лет его тесной близости со штудировавшими Канта «любомудрами»), о том, что «эстетика со времён Канта и Лессинга развита с такой ясностью и обширностью...» [3, т. VII, с. 211].

Своим дерзким «поэзия должна быть глуповата» (и потому стихи, которые «слишком умны», заведомо сомнительны) Пуш-

кин как бы заранее отвёл все характерные для иностранцев претензии к его творчеству. И Рената Гальцева и Ирина Роднянская с удовлетворением излагают всецело «оправдывающие» пушкинскую поэзию выводы А. Бриггса: «...его (Пушкина. — В.К.) взгляд на мир стоит метафизической системы. В такой системе у поэта и не было надобности, он был философом опыта... Важно, — резюмируют авторы обзора, — что в Пушкине найден ключ к жизненной мудрости, превосходящей отвлечённые истины» [2, с. 93]. И Бриггс «с почтительным изумлением» открывает, что на родине поэта «к нему относятся сразу как к личному другу, как к кровному родственнику и как к полубогу» [2, с. 85].

Это суждение возвращает нас к тому, с чего мы начали: Пушкин предельно близок каждому русскому, но одновременно он недостижимый «полубог», стоящий «выше» кого бы то ни было (по крайней мере, из людей русской культуры). На эту «двойственность» чётко указал Гоголь ещё при жизни поэта, за два года до его гибели. С одной стороны, Гоголь констатировал: «Ни один поэт в России не имел такой завидной участи, как Пушкин. Ничья слава не распространялась так быстро. Все кстати и некстати считали обязанностью проговорить, а иногда исковеркать какие-нибудь ярко сверкающие отрывки его поэм» [5, т. VIII, с. 51]. С другой стороны, «участь» зрелого творчества Пушкина Гоголь представил в совершенно ином свете. «По справедливости ли оценены последние его поэмы?» — вопрошал он, а далее специально говорил о зрелых стихотворениях, в которых, по его убеждению, «Пушкин разносторонен необыкновенно и является ещё обширнее, виднее, нежели в поэмах... большая часть из них, и притом самых лучших, кажется обыкновенною для многочисленной толпы... Чем более поэт становится поэтом (это уместно конкретизировать: чем более Пушкин становится Пушкиным. — В.К.) ...тем заметней уменьшается круг обступившей его толпы, и наконец так ста-

новится тесен, что он может перечест по пальцам всех своих истинных ценителей» [5, т. VIII, с. 54, 44].

* * *

Здесь мы соприкасаемся с особенной и, как я попытаюсь показать, чрезвычайно существенной стороной проблемы: Гоголь, констатировав ни с чем не сравнимую «общедоступность» пушкинской поэзии, затем как-то даже неожиданно сообщает, что «лучшие», наиболее зрелые стихотворения ценят по достоинству (в 1834 г.) лишь несколько человек (их можно «перечест по пальцам»).

Начиная с 1831 г. Гоголь находился в тесном общении с Пушкиным и, по всей вероятности, слышал (или читал в рукописи) высказывания поэта, близкие к тому, что о нём написал. Ибо в косвенной форме Пушкин утверждал, в сущности, то же самое, что и Гоголь. Осенью 1830 г. он записал в своём Болдине (набросок этот был опубликован лишь после его гибели): «Понятия, чувства 18-летнего поэта ещё близки и сродны всякому... Но лета идут, юный поэт мужает, талант его растёт ... Песни его уже не те. А читатели те же... Поэт отделяется от них и мало-помалу уединяется совершенно. Он творит для самого себя и, если изредка ещё обнародывает свои произведения, то встречает холодность, невнимание и находит отголосок своим звукам только в сердцах некоторых поклонников поэзии, как он, уединённых...» [3, т. VII, с. 222].

Знатоки пушкинских текстов напомнят, что перед нами отрывки из его незавершённой статьи о Боратынском, более того, Пушкин отчасти просто пересказывает здесь мысли из письма Боратынского. Но ясно выраженное нежелание «обнародовать свои произведения» принадлежит самому Пушкину. Боратынский не только не говорил об этом, но и опубликовал при жизни все свои стихотворения, кроме немногих эпиграмм и иных «стихов на случай» (а также, естественно, нескольких предсмертных, которые просто не успел отдать в печать).

Между тем Пушкин за шесть с лишним лет, которые довелось ему прожить после «болдинской осени», так и не «обнародовал» большую часть созданных им в Болдине «высших» стихотворений («Стихи, сочинённые ночью, во время бессонницы», «Заклинание», «Румяный критик мой...», «В начале жизни школу помню я...», «Для берегов отчизны дальней...», «Моя родословная», «Два чувства дивно близки нам...», «Паж или Пятнадцатый год» и др.). При этом необходимо иметь в виду, что ранее, до 1830 г., Пушкин обычно без промедления публиковал новые стихотворения (исключая, понятно, те, которые не соответствовали «цензурным требованиям»). Однако начиная с «болдинской осени» положение решительно изменилось, и более трёх десятков стихотворных шедевров оставались до его гибели в рукописях (к цензурным условиям это не имело никакого отношения).

М.П. Погодин сообщал С.П. Шевырёву после возвращения поэта из Болдина: «Пушкин написал тьму. Он показывал и читал мне всё по секрету, ибо многое хочет выдавать без имени» [6, с. 491]. И действительно, написанное в Болдине стихотворение «Герой» было опубликовано в № 1 журнала «Телескоп» за 1831 г. анонимно, очевидно, потому, что Пушкин, согласно его собственным словам, в то время «встречает холодность...». Впрочем, поэт не продолжил эту «тактику» и просто не стал «обнародовать» многие вершинные свои стихотворения.

Наиболее прискорбное впечатление произвела на Пушкина, надо думать, реакция на опубликованное им в мае 1830 г. стихотворение «К вельможе» (оно было озаглавлено «Послание К.Н.Б.Ю.», т.е. князю Николаю Борисовичу Юсупову). Не приняв той глубокой и всеобъемлющей поэтической историософии (о ней пойдёт речь ниже), которая воплотилась в «послании», критика встретила его издевательскими нападками на «низкопоклонство» поэта. По-видимому, именно эта травля вызвала

строку в написанном вскоре, в июле 1830 г., пушкинском сонете «Поэту»:

*...Услышишь суд глупца и смех толпы
холодной...*

(Опять этот «холод».) Пушкин явно не желал «встречать холодность» по отношению к прекраснейшим своим стихотворениям и предпочитал знакомить с ними только очень немногих, способных понять их людей. Среди них был, очевидно, и Гоголь. В уже цитированном очерке он с восхищением писал о поздних «мелких сочинениях» (т.е. именно *стихотворениях*, которые Гоголь ставил даже выше пушкинских поэм): «Тут всё: и наслаждение, и простота, и мгновенная высота мысли, вдруг объемлющая священным холодом вдохновения... Здесь нет красноречия, здесь одна поэзия... Слов немного, но они так точны, что обозначают всё. В каждом слове бездна пространства...» [5, т. VIII, с. 55]. Гоголь явно основывался здесь — хотя бы отчасти — на ещё *не опубликованных* стихотворениях Пушкина; по-видимому, именно поэтому он ничего не процитировал, не привёл ни одного названия.

Моё соображение подтверждается известным письмом другого великого современника Пушкина, Евгения Боратынского, который в последние годы жизни поэта общался с ним очень редко¹ и до 1840 г. не знал его высших произведений. В начале февраля 1840 г. Боратынский писал жене из Петербурга: «...был у Жуковского, провёл у него часа три, разбирая ненапечатанные новые стихотворения Пушкина. Есть красоты удивительной, вовсе новых духом и формой... Все последние пьесы его отличаются — чем бы ты думала? — силою и глубиной! Он только что созревал. *Что мы сделали, россияне, и кого погребли!* — слова Феофана на погребение Петра Великого. У меня несколько раз навёртывались слёзы художнического энтузиазма и горького сожаления» [7]. Прямо-таки невозможно

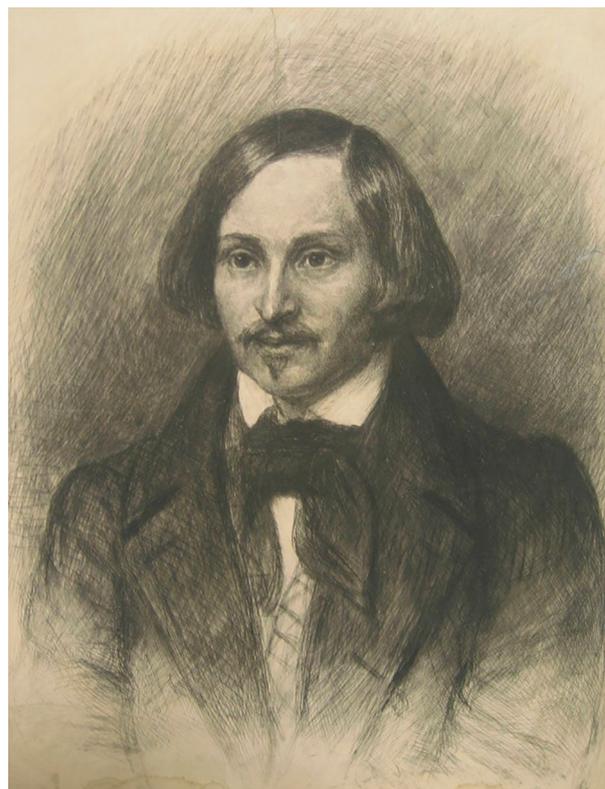
¹ В 1833 г. — в Казани, в 1836 г. — в Москве.

не задуматься самым серьёзным образом над этим текстом: только познакомившись с «посмертными» стихотворениями Пушкина, Боратынский действительно осознал, кого погребла Россия три года назад!

Гоголь, в отличие от Боратынского, был в постоянном общении с Пушкиным, знал то, что стало известно Боратынскому лишь в 1840 г., и потому уже в конце 1834 г. мог написать: «Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа...» [5, т. VIII, с. 50], — слова, к которым Боратынский, наверное, присоединился бы в 1840-м, но не раньше; ведь в 1832 г. он писал, например, о «Евгении Онегине»: «Так пишут обыкновенно в первой молодости из любви к поэтическим формам, более, чем из настоящей потребности выражаться» [8]. Иначе говоря, Боратынский не видел в пушкинском романе в стихах высокого содержания, «выражения» глубокого и рвущегося из души («настоящая потребность выражаться») смысла; взгляды Боратынского, по сути дела, совпали с высказываниями многих позднейших западных судей Пушкина...

Итак, вырисовывается несколько странная — и, по всей вероятности, для многих читателей неправдоподобная — ситуация: те, кто знал поздние стихотворения Пушкина, и те, кто не знал их, весьма различно оценивали творчество поэта. К этому надо добавить следующее. Пушкин, встретив «холодное» восприятие своих наиболее зрелых стихотворений, почти перестал «обнародовать» их (помимо того, он имел намерение, от которого, правда, после первого же опыта отказался, «выдавать без имени»). Но в известном смысле это ещё «ухудшило» дело: Боратынский, например, только через три года после гибели поэта познакомился с его шедеврами...

Чтобы «ситуация», о которой идёт речь, стала в глазах читателей более правдоподобной, сошлось ещё на одного свидетеля — Виссариона Белинского. Именно в то время (конец 1834 г.), когда Гоголь (знавший неопубликованные стихотворения Пушкина) завершал свои восторженные «Несколько



Ил. 1. В.В. Матэ. Гравюра. Портрет Н.В. Гоголя

слов о Пушкине», Белинский опубликовал такой приговор: «...Тридцатым годом кончился, или, лучше сказать, внезапно оборвался период пушкинский, так как кончился и сам Пушкин, а вместе с ним и его влияние; с тех пор почти ни одного бывалого звука не сорвалось с его лиры» [1, т. 1, с. 111].

Сейчас это, конечно, воспринимается как нелепость: ведь выходит, что Пушкин «кончился» в Болдине, ибо «болдинская осень» — это осень именно тридцатого года! Вместе с тем Белинский не без чуткости отметил тогда же: «У Пушкина мало, очень мало мелких стихотворений; у него по большей части всё поэмы» [1, т. 1, с. 97]. (Белинского, понятно, не известили, что поэт решил не «обнародывать» большинство своих стихотворений.)

В той же статье 1834 г. Белинский утверждал: «Пушкин царствовал десять лет (т.е. в течение 1820-х гг. — В.К.)... Теперь мы не узнаем Пушкина: он умер (!) или, может быть, только обмер на время. Может быть, его уже нет, а может быть, он и воскреснет...» [1, т. 1, с. 97]. Сегодня это читается, по меньшей

мере, с удивлением, но Белинский выразил безусловно *господствовавшее* тогда представление; ранее, в 1832 г., примерно то же самое писали о Пушкине влиятельные критики Н.И. Надеждин и Н.А. Полевой. Позднее, когда «посмертные» произведения Пушкина были изданы, Белинский судил о позднем творчестве поэта совершенно иначе, и в 1844 г. напоминал, что зрелая поэзия Пушкина «аристархами того времени... была принята очень дурно...». В «лучших» произведениях поэта, возмущался Белинский, «критиканы 1832 года (имелись в виду Надеждин и Полевой. — В.К.) увидели несомненные признаки падения Пушкина!.. То-то были люди со вкусом!..» [1, т. 6, с. 296].

Наверное, можно с полным правом обратить ядовитые слова Белинского к нему самому, и он, конечно, понимал, как заблуждался в 1834 г. (даже признавался в письме Герцену от 6 апреля 1846 г.: «И как хорошо, что мои статьи печатались без имени, и я... всегда могу отпереться от того, что говорил встарь, если б меня стали уличать») [1, т. 9, с. 593]. Однако если всерьёз разобраться в существе дела, «вина» Белинского не столь уж велика, к тому же её разделял с ним, как мы видели, даже ближайший сподвижник Пушкина — Боратынский. «Виноват», если угодно, был и сам Пушкин, который многое не стал «обнародывать». Впрочем, проблема гораздо сложнее, и здесь мы подходим к самому, пожалуй, существенному её аспекту.

Выше приводились слова Гоголя о Пушкине как о «чрезвычайном», «единственном» явлении русского духа. Конкретизируя своё утверждение, Гоголь продолжал: «...это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет» [5, т. VIII, с. 50]. «Двести лет» (которые должны исполниться в 2034 г.) едва ли следует понимать в буквальном смысле. Речь идёт просто о дальней перспективе, о некоем заветном будущем вообще. Важнее, пожалуй, другая сторона дела: Гоголь, по существу, имел в виду, что «русский человек» (разумеется, русский человек «вообще», т.е. как бы Россия в целом) действи-

тельно поймёт Пушкина лишь тогда, когда достигнет его духовного уровня.

Пушкин сознавал (это ясно чувствуется в «Памятнике»), что его признание — и, конечно, понимание — будет расти и расти. И в том, что он не хотел публиковать свои высшие творения, позволительно увидеть не только нежелание «встречать холодность», но и гораздо более существенный смысл: Пушкин как бы оставлял эти творения для *будущего*, обращал их не к современникам, а к «русскому человеку в его развитии» (так сказать, «полном» развитии). И это стремление, эта воля поэта, проявленная в отношении целого ряда наиболее зрелых стихотворений, так или иначе осуществилась, реализовалась...

Мне возразят, что я фантазирую: ведь после гибели поэта не опубликованные им произведения стали появляться в печати и давно доступны любому, кого интересует пушкинское наследие. Казалось бы, тут не о чем спорить. Тем не менее при специальном исследовании выясняется, что «необнародованные» Пушкиным стихотворения, по крайней мере, большинство из них — не вошли (и в значительной степени до сих пор не входят!) в своего рода канонический, основной «фонд» пушкинской поэзии. Они почти не включаются в антологии и хрестоматии, редко характеризуются (а иные из них и вообще не упоминаются) в громадной по объёму пушкиноведческой литературе и т.д.

Проблема эта заинтересовала меня давно, более двух десятилетий назад, и, пользуясь каждой возможностью, я производил своеобразные «опросы»: цитировал не опубликованные при жизни Пушкина стихотворения и всякий раз обнаруживал, что почти все они неизвестны абсолютному большинству слушателей. Причём опросы предпринимались мною среди достаточно «просвещённых» и, более того, так или иначе причастных к поэзии людей — профессиональных или хотя бы «начинающих» стихотворцев, критиков, филологов. Уверен, что любой тщательно подготовленный и самый широкий «опрос» выявил бы то же самое.

Обратимся к некоторым из «необнародованных», как бы обращённых к будущему стихотворений Пушкина.

Поэзия издревле воссоздавала борьбу добра и зла. И вот одно из последних пушкинских стихотворений — об Иуде Искарите:

*Как с древа сорвался предатель ученик,
Диявол прилетел, к лицу его приник,
Дхнул жизнь в него, взвился с своей
добычей смрадной
И бросил труп живой в гортань геенны
гладной...
Там бесы, радуясь и плеща, на рога
Прияли с хохотом всемирного врага
И шумно понесли к проклятому владыке,
И сатана, привстав, с веселием на лике
Лобзанием своим насквозь прожег уста,
В предательскую ночь лобзавшие
Христа.*

Когда Боратынский говорил о «силе и глубине», которыми отличаются все последние пьесы Пушкина, он, вероятно, имел в виду и это поразительное стихотворение. Надо только уточнить, что поздний Боратынский выступал (и осознавал это) как *поэт мысли*; между тем приведённое пушкинское стихотворение, пользуясь определением самого Боратынского, — «чистая пластика». Стоит только прочесть его вслух, чтобы словно вполне реально увидеть, услышать, обонять и даже как бы непосредственно осязать совершающееся. И в то же время предельные «сила и глубина» несомненны; только речь идёт не о силе и глубине мысли, которую так или иначе можно «извлечь» из стихотворения, но о силе и глубине смысла бытия, в конце концов, самого бытия, или, ещё точнее, бытия, которое как бы само (а не устами поэта) говорит о себе, — говорит нечто такое, что и нельзя схватить, выразить прямолинейной мыслью. Чего стоит хотя бы эта, словно бы не лишённая восхищения, строка:

И сатана, привстав, с веселием на лике...

Говоря о «необнародованном», естественно обратиться и к стихотворениям о люб-

ви — этой извечной поэтической теме. Её не-оценимое значение для поэзии, в общем-то, совершенно ясно, но именно потому мы редко о нём рассуждаем. Дело в том, что в любви человек способен воплотиться и раскрыться целиком и полностью — от сугубо земной, плотской, телесной, в конце концов, животной своей природы до самых возвышенных, духовных, небесных устремлений. И в тайне реальной любви это единство вроде бы несовместимого осуществляется естественно и органически и, по всей вероятности, знакомо любому человеку, пусть по отдельным и не часто испытываемым чудесным состояниям. В поэзии же, как свидетельствует ее история, воплотить это единство вовсе не просто. И с поистине исключительной, непревзойдённой силой воплощена тема столь противоречивой полноты любви в «посмертном» пушкинском стихотворении:

*Нет, я не дорожу мятежным
наслажденьем,
Восторгом чувственным, безумством,
исступленьем,
Стенаньем, криками вакханки молодой,
Когда, вивясь в моих объятиях змией,
Порывом пылких ласк и язвою лобзаний
Она торопит миг последних содроганий!
О, как милее ты, смиренница моя!
О, как мучительно тобою счастлив я,
Когда, склоняясь на долгие моленья,
Ты предаёшься мне нежна без упоенья,
Стыдливо-холодна, восторгу моему
Едва отвечаешь, не внемлешь ничему
И оживляешься потом всё боле, боле —
И делишь наконец мой пламень поневоле!*

В стихотворение можно долго вглядываться — как в целую многостороннюю поэму (напомню слова Гоголя о том, что в поздних стихотворениях «Пушкин является... обширнее, виднее, нежели в поэмах»); это действительно говорящее о себе бытие, а не речь о нём. Первая же строка — полусознательно или бессознательно — воплощает не преодолённое до конца противоречие: «Нет, я не дорожу...», —



Ил. 2. А.П. Керн (1800–1879).
Неизвестный художник

убеждает себя... Впрочем, кто убеждает? Может быть, жаждущее безумствующей чувственной любви тело? Или всё же тот, для кого действительно несомненно милее «стыдливо-холодно» предающаяся «смирница»? В стихотворении словно предстаёт вся цельность любовного бытия — и оно, можно с полным правом сказать, *непревзойдено в позднейшей поэзии*, где выделяется и подавляет целое отдельная какая-либо «сторона».

Противоречие не преодолено, не снято в пушкинском стихотворении; и в первой, и во второй строфе внятно звучит мотив мук любви, от которых ничто не может спасти и охранить, «исступленье», «язва лобзаний», но и во второй строфе, там, где нет «упоенья», так тревожат слова:

О, как мучительно тобою счастлив я...

Поскольку самые углублённые и, можно даже сказать, таинственные стихотворения Пушкина как бы выведены за пределы хрестоматий, общеизвестное подчас вос-

принимается слишком прямолинейно и однозвучно. Так, живущее в памяти каждого:

Я вас любил: любовь ещё, быть может...

представляется воплощением полнейшего смирения, безграничной жертвенности истинной любви:

*Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам Бог любимой быть другим.*

Итак, вроде бы идущее из самой сердцевины души желание: я был бы, мол, счастлив, если бы другой полюбил бы вас так, как я...

Тонкий критик Ирина Роднянская едва ли не первой прочитала здесь иное [9]. Не столь безгранично смиренным, по её мнению, предстаёт поэт. «Как дай вам Бог...». Но даст ли Он ей, пренебрегшей столь бесценной любовью? Или хотя бы иной оттенок смысла: только разве сам Бог в Его безмерном милосердии может ещё раз одарить её такой любовью... Но, во всяком случае, «дай вам Бог» вовсе не значит, что поэт готов сделать всё для вашего — едва ли «заслуженного» — счастья... И тот прямолинейный «смирный» смысл, который нередко пытаются увидеть в стихотворении, по сути дела, был бы фальшив, особенно в контексте пушкинского творчества в целом...

...Существует имеющая долгую традицию поэтическая тема безумия. В «по-смертном» наследии Пушкина представлено воистину гениальное стихотворение, опять-таки воспринимаемое как поэма — хоть и всего из тридцати коротких (состоящих из семи-восьми слогов) строк:

*Не дай мне Бог сойти с ума.
Нет, легче посох и сума;
Нет, легче труд и глад.
Не то, чтоб разумом моим
Я дорожил; не то, чтоб с ним
Расстаться был не рад.
Когда б оставили меня
На воле, как бы резво я
Пустился в тёмный лес!
Я пел бы в пламенном бреду,*

*Я забывался бы в чаду
Нестройных чудных грез.
И я б заслушивался волн,
И я глядел бы, счастья полн,
В пустые небеса;
И силен, волен был бы я,
Как вихорь, роющий поля,
Ломающий леса.*

Прерву стихотворение, чтобы сказать о пронизательном наблюдении одного из лучших пушкинovedов нашего времени — Валентина Непомнящего: «пустые небеса» означают небеса, в которых нет Бога, и только безумец может исполниться счастья, глядя в них... Но читаем далее:

*Да вот беда: сойди с ума,
И страшен будешь как чума,
Как раз тебя запрут,
Посадят на цепь дурака
И сквозь решётку как зверка
Дразнить тебя придут.
А ночью слышать буду я
Не голос яркий соловья,
Не шум глухой дубров —
А крик товарищей моих,
Да брань смотрителей ночных,
Да визг, да звон оков.*

Не могу ещё раз не заметить, что это стихотворение по своему видению бытия опять-таки пребывает как бы впереди нас; наши потомки, мне кажется, воспримут его внятнее и глубже, чем мы...

* * *

Несколько стихотворений, которых я здесь коснулся, конечно, не заменяют всю «посмертную книгу», о которой идёт речь и в которую уместно включить несколько десятков пушкинских стихотворений конца 1820—1830-х гг. В частности, поражает та «разносторонность», о которой сказал Гоголь. Рядом с воплощениями острого драматизма и трагедийности бытия (яв-

ного в приведённых стихотворениях) поэт создаёт образы такого скудного — будто бы совсем убитого ничтожной тщетой — существования, которое вроде бы и нельзя назвать «бытием». И снова, прошу извинить меня, приходится говорить о непревзойдённости этого пушкинского воплощения, притом не только в поэзии, но, пожалуй, даже и во всей позднейшей прозе:

*...Смотри, какой здесь вид: избушек
ряд убогий,
За ними чернозём, равнины скат
отлогий,
Над ними серых туч густая полоса.
Где нивы светлые? где тёмные леса?
Где речка? На дворе у низкого забора
Два бедных деревца стоят в отраду
взора¹,
Два только деревца, и то из них одно
Дождливой осенью совсем обнажено...
И только. На дворе живой собаки нет.
Вот, правда, мужичок, за ним две бабы
вслед.
Без шапки он; несёт под мышкой
гроб ребёнка
И кличет издали ленивого попёнка,
Чтоб тот отца позвал да церковь
отворил.
Скорей! ждать некогда! давно бы
схоронил...*

Существование, пожалуй, безнадежнее, чем то, о котором Александр Блок в следующем столетии напишет:

*... Да, и такой, моя Россия,
Ты всех краёв дороже мне.*

Но главное, по-видимому, что Пушкин всё же дал этому вроде бы небытию вечное поэтическое бытие, и достаточно одного проникновенного повтора:

*Два бедных деревца стоят в отраду взора.
Два только деревца...*

¹ Я ставлю это немаловажное ударение в соответствии с общими «показаниями» «Словаря языка Пушкина» (Т. 1, с. 630), хотя данный случай акцентирован там, как я полагаю, неверно.

чтобы мы почувствовали: бытие есть и здесь, хоть «на дворе живой собаки нет»... И ещё стоит напомнить: ведь это то самое Болдино, та осень 1830-го...

Позднее, возвращаясь в 1833 г. из Болдина, поэт воссоздал, в сущности, явление из той же самой жизни, прервав себя на строках заветной песни, и стихотворение также осталось в рукописи, в «посмертной книге», которая столь недостаточно известна и по сию пору:

*В поле чистом серебрится
Снег волнистый и рябой,
Светит месяц, тройка мчится
По дороге столбовой.
Пой: в часы дорожной скуки,
На дороге, в тьме ночной
Сладки мне родные звуки
Звонкой песни удалой.
Пой, ямщик! Я молча, жадно
Буду слушать голос твой.
Месяц ясный светит хладно,
Грустен ветра дальный вой.
Пой: «Лучинушка, лучина,
Что же не светло горюшь?»*

Как, значит, может обернуться жизнь — ведь ямщик этот, наверняка именно оттуда, где «два только деревца...». Стоит добавить, что это «сопоставление» — поэт и ямщик — постоянно и очень существенно для Пушкина; он воспринимал себя и ямщика как «родных» людей:

*Фигурно иль буквально: всей семьёй,
От ямщика до первого поэта,
Мы все поём уныло. Грустный вой
Песнь русская...*

Уже говорилось, что ряд «посмертных» стихотворений Пушкина незавершён, и естественно видеть причину в отсутствии намерения «обнародовать» эти стихотворения. Но в большинстве случаев в незавершённых стихотворениях полнокровно воплощён их основной смысл, и незаконченность нисколько не мешает нам воспринимать то же восьмистишие

«Пора, мой друг, пора!...». (Кстати сказать, достаточно много великих или даже величайших творений мировой литературы не были завершены авторами.)

Некоторые рукописи «посмертных» пушкинских стихотворений, поскольку поэт ни в коей мере не подготовил их к публикации, пришлось впоследствии буквально расшифровывать. Лучше всех это делал прямо-таки фатально влюблённый в Пушкина Сергей Михайлович Бонди. Не могу умолчать, что в 1951–1952 гг. с благоговением слушал его лекции в Московском университете, ставшие для многих основой филологической, да и общей культуры (хотя сейчас господствует мнение, что в те годы культуры-де вовсе не было). По трудно читаемой копии Сергей Михайлович восстановил одно из «посмертных» стихотворений Пушкина (прототипом «героя» стихотворения был, по-видимому, популярный в 1820–1830-х гг. и хорошо знакомый поэту московский либерал Г.А. Римский-Корсаков — хозяин замечательного дома на Пушкинской — Страстной — площади, в 1972 г. варварски уничтоженного ради расширения комплекса зданий газеты «Известия»):

*Ты просвещением свой разум осветил,
Ты правды чистый лик увидел,
И нежно чуждые народы возлюбил,
И мудро свой возненавидел.
Когда безмолвная Варшава поднялась
И ярым бунтом опьянела,
И смертная борьба меж нами началась
При клике «Польша не згинела!» —
Ты руки потирал от наших неудач,
С лукавым смехом слушал вести,
Когда разбитые полки бежали вскачь
И ггло знамя нашей чести.
Когда ж Варшавы бунт раздавленный
лежал
Во прахе, пламени и в дыме,
Поникнул ты головой и горько възрыдал,
Как жид о Иерусалиме.*

Многие назовут это стихотворение «политическим», некоторые скажут, что оно звучит удивительно злободневно. Но для

Пушкина поэзия была, конечно же, «выше» политики; он ведь говорил, что поэзия «выше нравственности» (даже!). И это стихотворение не злободневно, а вечно — независимо от каких-либо политических ситуаций. Пушкин — о чём свидетельствует и целый ряд других его произведений — отнюдь не предлагал «потирать руки» потому, что бунт Варшавы «раздавлен». Он видел характерную для значительной части российской публики «извращённость», выражающуюся и в «мудрой» ненависти к своему народу, и в том, что вести о поражениях русских полков слушают с «лукавым смехом».

«Политические» стихотворения Пушкина часто как бы вводят в русло общепринятых понятий. Между тем в зрелом творчестве Пушкина явлена вовсе не политика, а проникновенная поэтическая *историсофия*. Так, в стихотворении «К вельможе» Пушкин в немногих строках сказал о том, что свершилось в мире с 1789 по 1830 г. — сказал навечно (стоит заметить: в наше время не явился ещё поэт, могущий действительно говорить о 1917–1990 гг.):

*Всё изменилось. Ты видел вихорь бури,
Падение всего, союз ума и фурий,
Свободой грозною воздвигнутый закон,
Под гильотиною Версаль и Трианон
И мрачным ужасом сменённые забавы.
Преобразился мир при громах новой
славы.
Все, все уже прошли. Их мненья, толки,
страсти
Забыты для других. Смотри: вокруг тебя
Всё новое кипит, бывшее истребя.
Свидетелями быв вчерашнего паденья,
Едва опомнились молодые поколенья.
Жестоких опытов собирая поздний плод,
Они торопятся с расходом свесть
приход...*

Между тем об этом послании князю Н.Б. Юсупову судили в терминах мелкого политиканства, и такая «реакция» послужила, по-видимому, последним толчком для решения поэта не «обнародовать» лучшие свои стихотворения...

* * *

О совокупности тех стихотворений Пушкина, в которой я склонен видеть его «посмертную книгу», можно сказать ещё очень и очень многое (я не касаюсь целого ряда созданных поэтом в конце жизни и не опубликованных им глубочайших стихотворений *религиозного* содержания; замечательно, что он вступил на эту стезю только на высшей ступени своей творческой и человеческой зрелости). Для обсуждения проблемы, которой посвящена статья, достаточно уже приведённых «примеров». Основываясь на цитированных выше стихотворениях, едва ли кто мог бы сказать так, как сказал Тургеневу Флобер: «Он плоский, этот ваш поэт».

Впрочем, возразят мне, это же слова иностранца. Что ж, обратимся к Л. Толстому, который, разумеется, исключительно высоко ценил Пушкина, но тем не менее решительно заявил: «Тютчев как лирик несравненно глубже Пушкина» [10]. Не просто «глубже», а «несравненно»! И, значит, пушкинская поэзия «несравненно» более плоская, чем тютчевская. Трудно усомниться в том, что, освоив в полной мере «посмертную книгу» Пушкина, Толстой так бы сказал... Но, хотя это звучит неправдоподобно, стихотворения, которые Пушкин не «обнародовал», словно обращая их к будущему, и в XIX в., и даже в XX в. оставались, по сути дела, в тени.

И причина, по-видимому, в том, что ещё при жизни Пушкина создавался, откристаллизовался его «канонический» образ — ясный, светлый, как бы легко веющий над миром гений (характерно блоковское слово: «весёлое имя — Пушкин»). Поздние стихотворения, хотя бы те, которые цитировались мною, явно отклонялись от этого уже привычного образа, и потому их — вероятно, совершенно бессознательно — редко включали (или же совсем не включали) в книги избранных произведений поэта, хрестоматии и т.п. и уделяли им мало внимания (либо вообще не уделяли) в литературе о Пушкине. Между тем эти стихотворения — не только вершинные явления

пушкинской лирики, но и, если угодно, ключ к его поэзии в целом. Эти стихотворения не просто помогают, но заставляют понять всю бесосновательность представления о «плоскости», общедоступной «простоте» Пушкина. Но то, что очевидно предстало в поздних стихотворениях, конечно же, назревало в более ранних, так или иначе присутствовало в них.

Стихотворения Пушкина, обращённые им в будущее, позволяют разгадать тайну двойственности его образа, о которой шла речь в начале этой статьи, — Пушкин как самый общедоступный и как самый непостижимый поэт. Многие полагают, что виднейшие поэты XX в. проникли в глубины, к которым Пушкин-де и не прикасался. Но это мнимое «превосходство». В действительности в поэзии XX столетия крупным планом предстают те или иные резко выделенные грани человеческого бытия, что внушает мысль о не имевшей места ранее проникновенности художественного видения. У Пушкина же — глубочайшее постижение той цельности бытия, которая уже не подвластна поэтам нашего века. Об этом замечательно сказал Михаил Пришвин, размышляя о «Медном Всаднике»: «Как мог Пушкин, заступаясь за Евгения, возвеличить Петра? Как это можно так разделить себя? Наверно, надо быть

очень богатым душой и мудрым... Пушкин, замученный мыслью о судьбе бедного Евгения, вдруг как будто на берег океана выходит и говорит: “Красуйся, град Петров, и стой!”» [11]. Неточны здесь, по-моему, только слова «разделить себя»: Пушкин именно не разделял себя, он схватывал бытие во всём многообразии.

...Каждый человек в детскую свою пору способен переживать бытие как целое, хотя, конечно, это только неосознанное переживание, которое к тому же с годами утрачивается, сохраняясь, скорее, в качестве воспоминания о давнем «даре», чем в качестве реальной способности. Но эта живущая в любом из нас память обуславливает «общедоступность» Пушкина. Вместе с тем, поскольку в пушкинской поэзии постижение целостности бытия вполне реально, она предстаёт перед нами как не раскрываемая до конца тайна, как воплощение высшей, «божественной» мудрости. И с этой точки зрения поэзия Пушкина обращена к «русскому человеку в его развитии», в будущее. Но чувствуя и понимая, что пушкинская поэзия всегда впереди нас, мы тем самым и делаем её нашим бесценным достоянием...

(Воспроизводится по: Вестник РГНФ. 1999. № 1. С. 163–175)

ЛИТЕРАТУРА

1. Белинский В.Г. Собр. соч.: В 9 т. М., 1981.
2. Гальцева Р., Роднянская И. В подлунном мире // Пушкинист. Сборник Пушкинской комиссии Института мировой литературы им. А.М. Горького. М., 1989. С. 80–102.
3. Пушкин А.С. Собр. соч.: В 10 т. М., 1958.
4. Кант И. Соч. В 6 т. М., 1966. Т. 5. С. 521–522.
5. Гоголь Н.В. Собр. соч. М., 1952.
6. Пушкин Л.С. Письма. Т. II: 1826–1830. М.; Д., 1928.
7. Боратынский Е.А. Стихотворения. Поэмы. Проза. Письма. М., 1951. С. 529.
8. Боратынский Е.А. Стихотворения. Письма. Воспоминания современников. М., 1987. С. 237.
9. Роднянская И.Б. Слово и «музыка» в лирическом стихотворении // Слово и образ: Сборник статей. М., 1964. С. 195–233.
10. Л.Н. Толстой в воспоминаниях современников. М., 1955. Т. 1. С. 47.
11. Пришвин М. Незабудки. М., 1966. С. 266.

The Posthumous Book

Vadim Valerianovich Kozhinov — Candidate of Sciences in Philology; Leading Researcher of A.M.Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences.

The article discusses the contradiction between the transparency and accessibility of Pushkin's writings, on the one hand, and their incomprehensible depth accessible to a small number of "true connoisseurs" (Nikolai Gogol), on the other. The author explores several late "unpublished" poems by Pushkin, which he describes as a "posthumous book." Vadim Kozhinov draws attention to these poems' rich poetic historiosophy, pointing out that "being speaks for itself" in each one and highlighting both their remarkable diversity and the integrity of being mirrored in them. The conclusion is that Pushkin's "posthumous book" is focused on the future, meaning that Pushkin's poetry is constantly ahead of us, and so is our priceless gift.

Keywords: transparency and incomprehensible depth of Pushkin's heritage, Pushkin's "unpublished" poems, "posthumous" heritage, self-explanatory being, versatility, poetic historiosophy, integrity of being

REFERENCES

1. Belinskii V.G. *Sobr. soch.*: V 9 t. M., 1981 (in Russian).
2. Gal'tseva R., Rodnyanskaya I. V podlunnom mire // *Pushkinist. Sbornik Pushkinskoi komissii Instituta mirovoi literatury im. A.M. Gor'kogo*. M., 1989. S. 80–102 (in Russian).
3. Pushkin A.S. *Sobr. soch.*: V 10 t. M., 1958 (in Russian).
4. Kant I. *Soch.* V 6 t. M., 1966. T. 5. S. 521–522 (in Russian).
5. Gogol' N.V. *Sobr. soch.* M., 1952 (in Russian).
6. Pushkin L.S. *Pis'ma*. T. II: 1826–1830. M.; D., 1928 (in Russian).
7. Boratynskii E.A. *Stikhotvoreniya. Poemy. Proza. Pis'ma*. M., 1951. S. 529 (in Russian).
8. Boratynskii E.A. *Stikhotvoreniya. Pis'ma. Vospominaniya sovremennikov*. M., 1987. S. 237 (in Russian).
9. Rodnyanskaya I.B. *Slovo i «muzyka» v liricheskom stikhotvorenii // Slovo i obraz: Sbornik statei*. M., 1964. S. 195–233 (in Russian).
10. *L.N. Tolstoi v vospominaniyakh sovremennikov*. M., 1955. T. 1. S. 47 (in Russian).
11. Prishvin M. *Nezabudki*. M., 1966. S. 266 (in Russian).